

Эрнст Неизвестный

ДИАЛОГ С ХРУЩЕВЫМ. ИЗ КНИГИ «ГОВОРIT ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ»ⁱ

<...> ситуация, сложившаяся в Союзе художников к началу шестидесятых годов, была отнюдь не простой: с одной стороны, в искусство шли новые силы, не желающие терпеть засилье художественных мафий, но, с другой стороны, располагающие колоссальным влиянием и связями мафианские группы не собирались сдавать своих позиций. И когда группа молодых, возглавляемых художником Белютинымⁱⁱ, была приглашена для участия в выставке 30-летия МОСХа в Манеже, меня это насторожило.

Весьма странным выглядело само построение экспозиций. На видных местах были расположены работы нонконформистов, отнюдь не пользовавшихся благорасположением партии — и, напротив, работы советских классиков-мастодонтов каким-то образом оказались в тени, на заднем плане.

Я немало сомневался — принимать ли мне участие в этой выставке, в каких целях ее проводят, и что значит это странное расположение работ? Но, с другой стороны, Белютин убеждал меня, что наступают другие времена и что партия и ЦК намерены глубоко разобраться в делах художников. Необходимо лишь показать наши возможности, и выставка в Манеже предоставляет нам такой шанс.

Обстановка накануне 1 декабря 1962 года была страшно нервная. Мы работали всю ночь, и среди художников, которые находились в Манеже, было много нескрываемых агентов. Особенно это стало ясно к утру, когда пришел начальник правительственной охраны. Он заглядывал под столы, простукивал бронзу, видимо, боясь бомб или магнитофонов. Произошел довольно забавный эпизод. Когда я спросил его: «Вы что, действительно такой-то?» «Да-да», сказал он, не скрывая. Тогда я указал на окно, которое просматривалось с противоположной стороны Манежа, со стороны

Университета. И как офицер, с некоторой долей пижонства, сказал, что если он действительно заботится о безопасности Хрущева, то ведь с той стороны вполне можно стрелкнуть и во всяком случае увидеть, как к нам, в комнату, по лестнице будет подниматься правительство. Он взволновался, послал туда несколько человек, чтобы забить окно. Но было поздно — в Манеж прибыло правительство.

Мы были измотаны, небриты. Бросилась в глаза небезынттересная деталь, которая мне сейчас вспоминается. Студия Белютина, довольно широко представленная в Манеже, состояла из людей разных национальностей. И, в частности, не было никакого перевеса евреев. Но каким-то странным образом в Манеж были приглашены в основном евреи, причем с типично еврейскими лицами.

Уже тогда я почувствовал некий привкус провокации. Кстати, об этом я сказал Леве Копелевуⁱⁱⁱ, который был с друзьями внизу, в залах выставки, в то время как наверху шла подготовка экспозиции. Мы с ним гуляли по залам, и я, обратив его внимание на присутствующих, заметил: «Не понимаю, что происходит, Лев, провокация это или не провокация?» Он сказал: «Я тоже многого не понимаю, может быть, да, может быть, нет».

Кстати, Копелева я очень любил, познакомились мы с ним следующим образом. В 1956 году у меня, вместе с другими художниками, была однодневная выставка в МОСХе, где меня очень сильно и не аргументированно критиковали. И вот встает рослый красавец и просит председательствующего, главу МОСХа Шмаринова, быть осторожным. «Сейчас, - говорит он, - вы критикуете художника уровня Маяковского и Брехта. Поэтому ваши фразы становятся историческими, и я вас прошу быть осторожными...» На вопрос, от чьего имени он выступает, и кто он такой, он очень вальяжно сказал: «Во-первых, я говорю от собственного имени. Я - Копелев, и, во-вторых, я говорю от имени критиков Союза писателей», чем вызвал некоторое замешательство. После этого я к нему подошел и сказал: «Вы мне выдали такой аванс, что я просто обязан серьезно работать».

Так вот тогда, в Манеже, у нас у обоих возникла мысль о возможной провокации.

Наконец, в здание входит Хрущев со свитой. Мы находимся наверху, но до нас доносятся крики и вопли уже снизу, там происходит некий шабаш.

Какой это был шабаш, я не знаю, потому что я в нем не принимал участия. Но когда нас выстроили в ряд перед лестницей на верхней площадке, все мои друзья, создав некий круг, начали аплодировать поднимающемуся Хрущеву. Их аплодисменты слились с криками Хрущева: «Дерьмо собачье!»

Я еще не знаю, относилось ли это к нам, но, во всяком случае, он был воспален и все были очень возбуждены.

Осмотр он начал в комнате, где экспонировалась живопись, представляемая Белютиным и некоторыми моими друзьями. Там Хрущев грозно ругался и возмущался мазней. Именно там он заявил, что «осел хвостом мажет лучше». Там же произошла очень смешная сцена с Суловым, который, осматривая работы, сделанные в Саратове, без конца бубнил: «Я сам из Саратова! Я сам из Саратова, это непохоже». Там же было сделано замечание Жутовскому, что он красивый мужчина, а рисует уродов, там же произошла и моя главная стычка с Хрущевым, которая явилась прелюдией к последующему разговору. Стычка эта возникла так. Хрущев спросил: «Кто здесь главный?» Из рядов вытолкнули Белютина. Белютин был растерян, смущен и подавлен. Возможно, он действительно не ожидал провокации. Именно эта его растерянность и подтверждает, что он не был сознательным провокатором, хотя такая идея бытует и по сей день. Хрущев задал ему вопрос, который я не могу расшифровать. Он спросил: «Кто ваш отец?» На что Белютин, заикаясь, ответил: «Политический работник».

В это время Ильичев сказал: «Не этот главный, а вот этот!» И указал на меня. Я вынужден был выйти из толпы и предстать перед глазами Хрущева. Тогда Хрущев обрушился на меня с криком, именно тогда он сказал, что я гомосексуалист.

Эта «шутка» стала довольно известной, она много раз повторялась на Западе. Я извинился перед Фурцевой, которая стояла рядом со мной, и сказал: «Никита Сергеевич, дайте мне сейчас девушку, и я вам докажу, какой я гомосексуалист». Он расхохотался. После этого Шелепин, курирующий КГБ, заявил, что я невежливо разговариваю с премьером и что я у них еще поживу на урановых рудниках. На что я ответил - и это было именно так, это есть в стенограмме: «Вы не знаете, с кем вы разговариваете, вы разговариваете с человеком, который может каждую минуту сам себя шлепнуть. И ваших угроз я не боюсь!» Я увидел в глазах Хрущева живой интерес. Именно тогда я повернулся и сказал, что буду разговаривать только у своих работ, и направился в свою комнату, внутренне не веря, что Хрущев последует за мной. Но он пошел за мной, и двинулась вся свита и толпа.

И вот в моей-то комнате и начался шабаш. Шабаш начался с того, что Хрущев заявил, что я проедаю народные деньги, а произвожу дерьмо! Я же утверждал, что он ничего не понимает в искусстве. Разговор был долгий, но в принципе он сводился к следующему: я ему доказывал, что его спровоцировали и что он предстает в смешном виде, поскольку он не профессионал, не критик и даже эстетически безграмотен. (Я сейчас не помню слов и говорю о смысле.) Он же утверждал обратное. Какие же были у него аргументы? Он говорил: «Был я шахтером — не понимал, был я политработником — не понимал, был я тем — не понимал. Ну вот сейчас я глава партии и премьер и все не понимаю? Для кого же вы работаете?»

Должен подчеркнуть, что, разговаривая с Хрущевым, я ощущал, что динамизм его личности соответствовал моему динамизму, и мне, несмотря на ужас, который царил в атмосфере, разговаривать с ним было легко, это был разговор, адекватный моему внутреннему ритму. Опасность, напряженность и прямота соответствовали тому, на что я мог отвечать. Обычно чиновники говорят витиевато, туманно, на каком-то своем жаргоне, избегая резкостей. Хрущев говорил прямо, неквалифицированно, но прямо, что давало мне возможность прямо ему отвечать. И я ему говорил, что это провокация,

направленная не только против либерализации, не только против интеллигенции, не только против меня, но и против него.

Как мне казалось, это находило в его сердце некоторый отклик, хотя не мешало ему по-прежнему нападать на меня. И интереснее всего то, что, когда я говорил честно, прямо, открыто и то, что я думаю, — я его загонял в тупик. Но стоило мне начать хоть чуть-чуть лицемерить, он это тотчас чувствовал и сразу брал верх.

Вот один только пример. Я сказал: «Никита Сергеевич, вы меня ругаете как коммунист, вместе с тем, есть же коммунисты, которые и поддерживают мое творчество, например, Пикассо, Ренато Гутузо». И я перечислил многие ангажированные и уважаемые в СССР фамилии. Он хитро прищурился и сказал: «А вас лично это волнует, что они коммунисты?» И я соврал: «Да!» Если бы я был честным, я должен был сказать: «Мне плевать, мне важно, что это большие художники!» Словно почувствовав все это, он продолжал: «Ах, вас это волнует! Тогда все ясно, пусть вас это не волнует, мне ваши работы не нравятся, а я в мире коммунист номер один!»

Между тем, были минуты, когда он говорил откровенно то, что не выговаривается партией вообще. Например, когда я опять начал ссылаться на свои европейские и мировые успехи, он сказал: «Неужели вы не понимаете, что все иностранцы — враги?» Прямо и по-римски просто!

Организаторы провокации совсем не предусматривали такую возможность что я смогу в чем-то убеждать Хрущева. Они хотели, чтобы Хрущев проехался по нам, как танк, не оставив мокрого места. Но раз он со мной разговаривал, значит, вступал в дискуссию. А раз он вступал в дискуссию, значит, слышал то, что не должен был слышать, а я распоясался и говорил то, что думаю. Мне хотелось каким-то образом одернуть хулиганствующих функционеров. Серову я просто сказал: «А ты, бандит, не мешай мне разговаривать с премьером, с тобой мы поговорим потом!»

Когда Шелепин выдвинул против меня обвинения в том, что я гомосексуалист, краду бронзу, занимаюсь валютными операциями и — какая-

то странная формулировка! — позволяю себе недозволенное общение с иностранцами, — я сказал: «Перед лицом Политбюро ЦК заявляю следующее: Человек, курирующий КГБ, дезинформирует главу государства либо из собственных интересов, либо он дезинформирован собственными людьми. И я требую расследования». В будущем расследование было произведено — меня, действительно, пытались подключить к валютным операциям и, действительно, пытались обвинить в краже бронзы и многом-многом другом. Но уже спустя полтора года, когда Хрущев снова обо мне вспомнил на одном из идеологических совещаний, Шелепин встал и публично заявил, что эти обвинения с меня сняты.

Кончилась наша беседа с Хрущевым следующим образом. Он сказал: «Вы интересный человек, такие люди мне нравятся, но в вас одновременно сидят ангел и дьявол. Если победит дьявол, мы вас уничтожим. Если победит ангел, то мы вам поможем». И он подал мне руку. После этого я стоял при выходе и, как Калинин, пожимал руки собравшимся. Между тем, многим художникам было плохо. Я находился в эпицентре и, может быть, поэтому не ощущал, как это было страшно, но те, кто находился по краям, испытывали просто ужас. Многие из моих товарищей бросились меня целовать, поздравлять за то, что я, по их словам, защитил интересы интеллигенции.

Затем ко мне подошел небольшого роста человек, с бородавкой на носу, как у Хрущева, бледный, в потертом костюме, и сказал: «Вы очень мужественный человек, Эрнст Иосифович! И если вам надо будет, позвоните мне», и сунул какой-то телефон. Я сгоряча не разобрался, кто это. Спустя некоторое время я узнал, что это был помощник Хрущева Лебедев, с которым, кстати, я потом встречался минимум двадцать раз.

По заданию Хрущева Лебедев требовал, чтобы я публично покаялся, то есть передал Хрущеву письмо, которое можно было бы напечатать в советской прессе, как покаянное. Видимо, это было партийное задание, и он, как исправный функционер, выламывал мне руки, иногда угощал пряником, чтобы добиться своего.

Я написал Хрущеву письмо, которое, по заявлению Лебедева, не удовлетворило идеологическую комиссию ЦК. Лебедев сказал так: «Никита Сергеевич прочитал ваше письмо с интересом, но оно не удовлетворило идеологическую комиссию ЦК, поэтому оно не может быть напечатано как символ того, что вы прислушались к критике».

О моем первом впечатлении от Хрущева. Должен сказать, что я испытывал тогда двойственное чувство к нему. Я испытывал симпатии к его динамизму. И, естественно, к его либеральным акциям, но вместе с тем, я был абсолютно ошарашен его почти уникальной некультурностью.

Я в жизни, пожалуй, не встречался с человеком более некультурным. Одновременно я чувствовал в нем биологическую мощь и психобиологическую хватку. Во всяком случае, определенная природная незаурядность в этом человеке была. К сожалению, она осталась не подкрепленной культурой, столь необходимой для руководителя такого государства. Я думаю, что это ему очень отомстило в его биографии.

ⁱ *Неизвестный Э. Диалог с Хрущевым [Фрагмент] // Говорит Эрнст Неизвестный. Мюнхен: Посев, 1984 — https://royallib.com/read/neizvestniy_ernst/govorit_neizvestniy.html#0 (Дата обращения: 31.01.2024). Неизвестный Эрнст Иосифович (1925–2016) — скульптор. Участник Великой отечественной войны, был тяжело ранен и некоторое время считался погибшим. В 1954 году окончил Московский художественный институт им. В. И. Сурикова и затем успешно работал как скульптор, в частности, в 1959 году стал победителем Всесоюзного конкурса на создание монумента Победы в Великой Отечественной войне. В 1974 году по просьбе родственников Н. С. Хрущева создал надгробный памятник ему на Новодевичьем кладбище в Москве. В 1976 году эмигрировал, жил в США. В 1989 году приезжал в СССР, осуществил в России ряд монументальных проектов, в том числе пятнадцатиметровое произведение «Маска скорби» для Магадана (1996).*

ⁱⁱ Белютин Элий (Елигий) Михайлович (1925–2012) — живописец, педагог, теоретик искусства. С 1954 года руководил «Экспериментальной студией живописи и графики» при Горкоме художников книги и графики в Москве, которая вошла в историю как студия «Новая реальность». В 1962 году по предложению министерства культуры устроил

экспозицию своей студии в рамках выставки в Манеже, посвящённой 30-летию Московского отделения Союза художников СССР. После её посещения 1 декабря 1962 года Н. С. Хрущёвым с другими руководителями советского правительства и КПСС, подвергся обструкции и перенес свою мастерскую на дачный участок в Абрамцево. Разработал собственную теорию «всеобщей контактности», полагая, что занятия живописью могут служить способом терапии при психотических состояниях и других нарушениях психоэмоционального строя.

ⁱⁱⁱ Копелев Лев Зиновьевич (1912–1997) — писатель, литературовед-германист, диссидент и правозащитник. В 1941–1945 годы — военный переводчик и пропагандист на фронте. В 1946–1954 годах — узник ГУЛАГа (по ст. 58–10 УК РСФСР), реабилитирован в 1956 году. В 1957—1960 годах преподавал историю зарубежной печати в Московском полиграфическом институте, в 1960—1968 годах работал научным сотрудником во ВНИИ искусствознания. С 1966 года участвовал в правозащитном движении, за что был уволен с работы и лишен возможности публиковаться. В 1980 году выехал в ФРГ и вскоре был лишен советского гражданства. Автор автобиографической эпопеи «И сотворил себе кумира» (1978) и многих других книг.